

Никита Стфуве
ПАРИЖ

ЯВЛЕНИЕ СОЛЖЕНИЦЫНА. ПОПЫТКА СИНТЕЗА

Моё выступление выходит за кадр темы конференции «Проблемы художественного творчества». Озаглавлено оно, пожалуй, слишком громко. Я не чувствую себя способным, особенно в двадцать минут, синтезировать такое огромное явление, как Солженицын. Скорее это будет введение в тему, попытка понять и поставить вопрос: в чём «огромность» явления Солженицына? Этот вопрос стоит перед нами с появления «Ивана Денисовича»... Ещё в 73-м году известный критик и «сиделец» российских и немецких лагерей Пётр Равич ставил этот вопрос и пытался на него ответить.

Мне придётся выйти за пределы чисто художественных проблем творчества, из убеждения, что литература тогда велика, когда перерастает собственные границы. Я не раз выступал на эту тему, и отправной точкой моих выступлений было напоминание, что Солженицын в детстве мечтал попеременно быть писателем, священником и военачальником. Мечта сама по себе поразительная, но ещё больше тем, что она осуществилась. Она показывает на изначальное, с детства идущее тяготение к «универсальности», стремление воплотить основные три призвания человека (к которым, кстати сказать, прибавится четвёртое, отчасти извне, в силу обстоятельств, призвание учёного). Об основных трёх призваниях: писатель, священник, военачальник — французский поэт Шарль Бодлер писал, что эти три профессии — единственные, которые заслуживают уважения. Все остальные «годятся для конюшни». Поэт, писатель — творец, приносящий своим творчеством жертву Богу («Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»); священник по самой своей функции жертвоприноситец, а военачальник себя приносит в жертву. Все эти три призвания включают в себя момент жертвы, и потому они одни, по Бодлеру, достойны уважения. Таковую сходную троичную формулу применил к Александру Исаевичу Варлам Шаламов после выхода «Ивана Денисовича». Шаламов надписал на книге своих стихов, которую подарил Солженицыну: «В знак бесконечного восхищения Ва-

шей художественной, общественной и нравственной победой». Но волей Провидения все три призвания Солженицына были отсрочены на целых пятнадцать, а то и двадцать лет. Разумеется, верховное призвание, писательское, пробивалось неотступно, с самого начала, затем во время сидения на шарашке и в ГУЛАГе, по необходимости в виде рифмованных строчек, «чтобы запомнить». Александр Исаевич — писатель до мозга костей, он живёт словом на всех уровнях жизни, включая и бытовую. Помню, как в Вермонте я получал от Александра Исаевича краткие записки, в которых, казалось бы, незначительные слова, написанные по пустячному поводу, играли всеми своими цветами.

Религиозное призвание оборвалось в юношеские годы, когда «без грохота, тихо рассыпалось здание веры в моей груди», вплоть до одновременно роковых и спасительных месяцев 1952 года.

Мы знаем, с какой страстью, с каким упорством Солженицын в начале войны добивался быть призванным в армию. Военачальническое призвание было грубо оборвано арестом в самый успешный момент, когда он был представлен к ордену Красного Знамени. Связанное с ним чувство власти проявилось, как сам Александр Исаевич писал в «Архипелаге ГУЛага», ещё и тогда, когда в момент ареста он почувствовал своё капитанское право на верховодство, поручив арестовавшим его нести его чемодан.

Для исполнения всех трёх призваний — и в этом я вижу объяснение «огромности» и уникальности явления Александра Исаевича — потребовалось не только восемь лет лагерей, но ещё, вдобавок, раковая опухоль, умирание, затем несколько лет безвестной ссылки. Это оказалось условием, чтобы стать не просто писателем, пусть и хорошим, а писателем-явлением, писателем-пророком. Я не боюсь этого слова, а дальше постараюсь его пояснить и оправдать. Всякое большое писательство, в частности в русской традиции, связано с пророческим моментом, с чем-то большим, чем литература. Чтобы стать писателем-пророком, чтобы стать стратегом, в данном случае стратегом без внешней власти, точнее, против власти, надлежало пройти все круги ада, через согласие на умирание, через принятие его как блага. Все мы помним парадоксальное обращение Солженицына: «Благословенна ты, тюрьма», все мы помним, что «на гниющей тюремной соломке он ощутил в себе впервые шевеление добра». Меньше, может быть, мы знакомы с тем определением счастья, которое Александр Исаевич дал в одной из телепередач во Франции с Бернардом Пиво (цитирую по памяти): «Когда врачи мне сказали, что мне остаётся жить несколько недель, безусловно, я не был счастлив в этот момент, но я испытал такое возвышенное состояние, та-

кой мир, психологически я перешёл через грань смерти. Это такое возвышенное состояние, что его даже нельзя сравнить со счастьем». В буквальном, конкретном смысле, телесном, психофизическом, духовном Солженицын пережил то, что так таинственно изобразил Пушкин во всем нам известном «Пророке». Пушкин, несомненно, применял и к себе эту страшную «хирургическую операцию», когда Серафим ему «вырвал грешный... язык, и празднословный и лукавый», когда он «грудь рассек мечом и сердце трепетное вынул...». «Как труп в пустыне я лежал...» — это то, что вполне конкретно пережил Александр Исаевич «на гниющей тюремной соломке». Как пережил жизнелюбивый Пушкин это хирургическое обновление своего естества, нам неизвестно, лирические поэты живут испепеляющими мгновениями вдохновения, когда внезапно обновляется всё их существо. У Александра Исаевича была иная судьба, он стал большим писателем через реальное физическое умирание. Без этого нельзя понять художественный мир Солженицына, этот центральный момент позволяет объяснить свет и силу его творчества. Необходимо обратить внимание на то, что у этого по природе, по характеру, по психофизиологическому составу человека власти идёт противоборство между принятием полного уничтожения и сохранением внутренней властности, но преображённой. В этих двух противоборствующих началах я и вижу источник солженицынской гениальности. Гениальность всегда выражается в двух (иногда и больше) противостоящих, антиномичных друг другу внутренних моментов. В умирании Солженицын обрёл власть иного, высшего порядка: «И Бога глас ко мне воззвал: / “Восстань, пророк, и виждь, и внемли...”». Главный, сокровенный импульс его творчества можно определить богословским понятием «кенозиса» (от греческого «кенос»), что означает «опустошение, уничтожение, умаление» как условие и залог осуществления человека в его цельности и полноценности. От «Пророка» Пушкина перейдём к гимну апостола Павла в Послании к Филиппийцам (кстати, оно написано им в узах, в тюрьме). Это гимн уничтожению — «кенозису» в лице Христа: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек...» (Флп. 2:7). Это первая стадия божественного опустошения — «стать как человек». Но есть вторая стадия божественного опустошения: «...смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени...» (Флп. 2:8–9). Это ощущение «кенозиса» мы находим в мировой литературе, в её наивысших проявлениях, начиная с греческих трагиков: у Эсхила, Софокла, ещё ярче у Шекспира: «счастливы

цари развенчанные, цари поверженные» (Ричард II). Имеется оно и в русской литературе, и до Солженицына, в частности у Достоевского. Солженицын не раз подчёркивал, что он не своими руками творил свою судьбу, что судьба его не рукотворна. Путь от уничтожения невольного, но принятого или вольного через сознательный отказ ради правды от власти, от счастья есть та глубинная тема, которая изнутри приподнимает и освещает всё творчество Солженицына, не только художника, но и публициста. Любимое понятие Солженицына — самоограничение — не чисто морального порядка: оно восходит к чувству, вынесенному им как из жизни, так и из опыта смерти: восхождение через страдание к чему-то возвышенному и неизреченному. Самоограничение вписывается в основную онтологию человека: самоутверждаясь или самоуслаждаясь, человек теряет самого себя.

Этот путь позволяет Солженицыну и его героям узреть всю первоизданную красоту мира (таков замечательный финал «Ракового корпуса»).

Но ещё, быть может, выше — видеть человека в его красоте. В эпоху антропологической катастрофы Александр Исаевич увидел человека в человеке, увидел то нетленное, что в человеке заложено и что никакое зло до конца не может истребить. Как писал один французский критик, если реальность концентрационного мира была, наконец, признана, а ведь до Солженицына свидетельств было немало, то это потому, что у Солженицына в самых тяжких, в самых ужасающих условиях людям удаётся обрести своё человеческое достоинство как факт неистребимый и, как таковой, сверхъестественный.

Дар видения мира в его первобытной красоте, дар видения в человеке его неистребимой человечности — это то основное, что приносит нам Солженицын. Вот почему его голос вчера, как и сегодня, как и в будущем, всегда был, есть и будет необходим.